

БАЛКА

Как зайдет солнце, стаи ворон собираются над Заднепровьем, над Островом и Подолом, над базаром и железной дорогой и танцуют в небе. Странный танец, неевклидова геометрия.

— Мишка, а напиши пьесу для моего театра?

Вот так, безо всяких «привет», дурацких «как дела?», без объяснений, что такое «его» театр. Кукол? Теней? Драмы и комедии? Мы не виделись несколько лет, созванивались, кажется, в прошлом году. Или в позапрошлом.

— Славик, во-первых, здравствуй. Я рад тебя слышать, хоть ты и хам трамвайный — разбудил меня своим звонком и даже не здороваешься.

— Троллейбусный, Мих, ко мне на Воскресенку из города теперь троллейбус ходит. Ты давно у нас не был. Во-вторых?

— Во-вторых, я рассказы пишу фантастические, повести. Какая пьеса?

Славка задумался. Он прав: в городе я не был несколько лет, ни про троллейбус не знаю, ни про переезд его с Лесной за Днепр, на Воскресенскую горку. Там сейчас, наверное, все в цвету, все бело от яблонь и вишен.

— Брось, Мих. Ты пишешь не про космические корабли, не про драконов и вампиров, а про людей. Придумай историю, расскажи, напиши мне, пьесу вместе сделаем. Или я сам, но ты меня за шкуру держать будешь, чтобы не слишком уносило за горизонт. А лучше всего приезжай.

Я поехал. Конечно, не будет никакой пьесы, зато будет Славка, будут сиреневые вечера над рекой, и долгие разговоры, и крепкий чай, и город детства. Из Праги в Петроград без ночевки, на полдня — навестить издателя — и на будапештский скорый. До границы у него всего одна остановка — Новгород-Днепровский.

Уютное купе на двоих, молчаливый попутчик, письма Чехова, кофе, еще кофе, полтинник Gaston Legrand. Я отложил книгу, стал смотреть в окно.

Мы с мамой ездили ночным пассажирским, экспрессов еще не было. Я просыпался первым, на рассвете. Золотистый туман, зеленый шум березовых рощ,

луга, синие от цветущих люпинов — разноцветное счастье маленького путешественника. Поезд не спеша подъезжает к вокзалу, на перроне уже стоят дед с бабушкой, улыбаются — увидели нас. Мы летим на такси через весь солнечный город на Лесную.

Что сейчас в той квартире? Кто живет? Деда не стало в тринадцатом, мы забрали бабушку в Петроград. Через четыре года похоронили на Охтинском отца, мои уехали в Прагу, я поступил в Литинститут и остался один в большой пустой квартире на Мойке.

В чистом и холодном весеннем небе танцуют воробьи. Поезд уходит на запад, вслед за солнцем, я остаюсь. Кто это — огромный, на голову выше меня, небритый, в летней куртке и светлых джинсах — идет, почти бежит навстречу?

— Славка!

— Миха!

— Здравствуй, Славик! Сколько же мы не виделись, а?!

— Здорово, Мишель! Ты молодец, что все-таки приехал.

Не прошло и тридцати лет, как в Днепровском появился троллейбус. Мы сидим на «капитанском» месте рядом с кабиной водителя.

— Почему Воскресенка?

— Домик я снял с маленьким садом, тишины хочу. Вот напишем с тобой пьесу, поставлю гениальный спектакль, приз получу в Авиньоне да выкуплю у хозяев эту избушку на козых ножках.

— Фантазер ты, Святослав Игоревич.

Маленький дом на краю оврага, кухня-веранда, окно в сад. Пахнет сиренью и дымом Славкиных сигарет. Чай давно остыл, мы все говорим, говорим. Славка снова развелся, оставил бывшей жене квартиру, перебрался за Днепр. Ушел из Драмтеатра в Молодежный, там такие ребята, так работают, так горят у них глаза, особенно у одной девочки — она приехала недавно из Брянска.

А у тебя, Мих? Две новых повести, десяток-другой рассказов, черновик романа — третий год не могу закончить. Прага, мама, бабушка, Петроград, Париж, Барселона, институтские друзья, Лондон, Гавана... Все мотаешься? Все мотаюсь. Отчего в Днепровском так давно не бывал? Больно? Думал, будет больше. Рад, что приехал, что с тобой встретился, Славка. А помнишь, Мишка? Помнишь? Помнишь...

Помню. Сигареты и сирень.

Машка-Ромашка, Мириам Розенберг, девочка с глазами цвета крепкого чая, девочка из дома напротив — там, на Лесной, в детстве. Бумажные самолетки с балкона на балкон, зашифрованные послания, секретные планы, тайные чертежи. Лучшие мои летние друзья — Маша и Славка. Он обижался, не понимал, как можно дружить с девчонкой, говорить с ней о таких важных вещах, как лабиринты, клады, экспедиции, Дом.

Мы с Ромашкой неожиданно повзрослели, все изменилось. На два дома, на два города, то вместе, то порознь мы прожили лет десять. Нет, больше, почти одиннадцать. Той зимой мы опять расстались. Маша уехала, я несколько недель почти

не выходил на улицу. Писал, перечеркивал, рвал, выбрасывал. Я и не заметил, как прошел март, апрель, начался и почти закончился май. Потом вдруг взял билет до Днепровского, дошел пешком от Петроградского вокзала до Лесной, купил по дороге полсотни тюльпанов. Встал под окнами, закричал, как много лет назад, на всю тихую улицу:

— Ромашка-а-а-а!

Мы сидели у подъезда под сиреневым кустом, Маша курила свои любимые Vichy Blanc.

— Мишань, а я замуж выхожу.

— За меня?

— Нет, не за тебя. Прости.

Я простил. Правда, не сразу.

Мы проговорили до середины ночи. Славка рассказывал про свой театр, про общих знакомых, про перемены в городе. Решили завтра не очень поздно встать, пройтись по центру, а потом сесть за пьесу.

Я проснулся буквально через час-полтора — дурной сон. Ворочался, смотрел, как светлеет за окном небо, сел с книгой за стол на веранде, зажег лампу, заварил чай. Пришел сонный Славик.

— Хозяйничаешь? А спать кто за тебя будет? Ты мне живой нужен.

— Сон нехороший приснился, пришлось из него выходить, не спится теперь.

— Выходить?

— Ну да, как из компьютерной игры.

— Я так не умею, Мих.

— Надо во сне понять, что спишь, и сон кончится. Случается, правда, просыпаешься в другом сне, уровнем выше, тогда нужно снова понять, что спишь, и выйти. Я как-то раз заблудился, только уровнем через пять дошел до нашего с тобой этажа мироздания.

— Чжуань-цзы, — задумчиво сказал Славка. — Часто ты подобным образом путешествуешь?

— Когда много работаю. Ну и просто так бывает, без видимых причин.

— А что снится-то? Не хочешь, не говори.

— Что угодно, а потом на западе встает еще одно солнце. Мир залит невозможным двойным светом, от этого «не может быть» перехватывает дыхание. Бегу, проваливаюсь сквозь слои сна, чужое солнце идет за мной, поднимается из-за горизонта во всех вселенных.

— Ты гений, Мигель, даже когда спишь! Это же готовое решение для спектакля. Представь себе в глубине сцены город на высоких холмах. Мы светим на него диагональным, потом включаем боковой — теплый, янтарный. Сюжет? Пусть будет женщина... Девушка, которая гуляла по снам и заблудилась. Иные, призрачные миры, странные встречи, дорога домой. Зритель до самого конца не будет знать, что ей снится, а что происходит наяву. Авиньон у наших ног, братишка!

— Да ну тебя, Славка. Чушь.

— Ладно, за мной кошмары не гоняются, пойду дальше спать, — обиделся, что ли? А ты посиди тут, подумай о своем поведении. И не выкури, пожалуйста, все мои сигареты. Ах да, ты ведь не куришь.

Не курю, а Славик не пьет. Вот тут у нас полная несовместимость.

День провели на ногах, где только ни побывали. Новая набережная с кораблями, Дозорная башня, которую все никак не отремонтируют, деревянный мостик через речку Вишню, кафе «Ронсар» на Гоголевском — его открыли буквально на днях, заливные луга вдоль Днепра, старые дворы. Вечером пришли на Лесную к Славкиным родителям. Дядя Игорь такой же огромный, как Славик, совсем седой. Тетя Аня отлично выглядит и замечательно готовит. Обрадовались, расспрашивали, рассказывали, передавали приветы. Предлагали ночевать у них, но Славка сказал строго и многозначительно: «Нам надо работать».

Стояли во дворе, смотрели на звезды, на бледное облако Млечного Пути. За деревьями слепым великаном, черной горой возвышался Дом.

Опять веранда, сирень, сигареты.

— Ты много куришь, Славка. А что с Домом?

— Да все то же. Вроде купил его кто-то, гостиницу хотел сделать, но разорился. Года три назад город пробовал за него взяться, закончилось все новым забором. Говорят, пацаны по-прежнему туда лазают — ходить по балке.

Славик замолчал, задумался.

— Знаешь, Мих, я ведь так и не пошел туда.

Вершина мальчишеской доблести нашей — Эверест, нет, пожалуй, Кайлас — забраться в Дом, найти комнату на последнем этаже, где сняты перекрытия до самой земли, по двутавровой стальной балке дойти до окна и вылезти на пожарную лестницу.

— Ну и ладно, я тоже никогда в Доме не был. Зато сколько баек насочинял...

Тень скользнула по Славкиному лицу.

— Мишель, ты проходил по балке.

— Брось, не осмелился бы ни в детстве, ни сейчас, я же все на ходу выдумывал. Вспомни хоть историю про подвал: десять-двадцать-тридцать ярусов вниз, ржавый люк, затопленный лабиринт. А белобрысый тот... Из Иваново-Вознесенска, тоже к деду с бабушкой приезжал...

— Королев, кажется, Степка.

— Вроде да. Так вот, слушал он мои рассказы, слушал, а потом возьми да и скажи — все, мол, верно, я тоже нашел люк, спустился до девятого яруса, но потерял фонарик и в темноте плюхнулся в подземную реку. Плыл по ней, пока в Днепр не вынесло. Брехло был этот Королев не хуже меня. Помнишь?

— Помню, — пробормотал Славик.

— Что мне оставалось делать? Сказал, что видел реку, но свернул не направо, а налево. И он знает, что я вру, фантазирую, и я про него знаю, и есть только один способ разоблачить его вранье — сказать, что я сам все придумал. А жалко, такая байка получилась. Все верили, кроме Степки, даже ты верил.

Славка хмыкнул с сомнением.

— Мих, серьезно, ты ходил по балке. Я стоял с пацанами за забором, на пустыре, своими глазами видел, как ты вылезашь на пожарку. Клянусь.

— Зачем? — Славик настаивал.

— Да сны эти дурацкие. Я советовался с психологами, просто с умными людьми разговаривал. Вместе копались в прошлом, но — зего, никаких зацепок, только общие слова. Сильное, мол, переживание в детстве. А тут целая страница из жизни вырвана, может быть, не одна. Книга с секретом, странички без номеров — пока случайно не наткнешься, не узнаешь, что они были.

— Мишка-книжка-кочерыжка!

— Славка-малышка, лиловая козявка! Ты рассказываешь, а я ничего не могу вспомнить: ни как подначивали меня старшие мальчишки, ни подготовку к походу, ни Дом, ни балку, ни пожарную лестницу. Не высота же меня так напугала. Я увидел что-то или кого-то страшной высоты, сбежал, забыл, спрятал на дне памяти, думал — навсегда. Что, если оно затаилось до времени и теперь пытается напомнить о себе, стучится в мои сны?

— Ты странный вышел оттуда, но из Дома все странными выходят. Ну так ребята говорили. Сам-то я никого, кроме тебя, не видел, кто вылезал бы из этого окна под крышей.

Славик сидит с ногами на подоконнике, дымит в ночной сад. Безветрие, соловьи, случайные машины далеко внизу, на Смоленском шоссе. Тишина. Та тишина, о которой он мечтал.

— Хорошо, Мигель, давай вместе сходим. Мне не нравится эта затея, но раз ты собрался...

— Спасибо. Ты говоришь, что тогда я ходил один, придется и сейчас идти одному, хочу вспомнить. У тебя же была перечерченная у кого-то карта Дома? Найдешь?

Славка смутился.

— Я сам ее нарисовал, посчитал этажи и окна, остальное выдумал. Наверное, все эти карты на тетрадных листах в клетку такие же, как моя. Никто ведь их не проверял.

Воздух, как кисель, вязкий. Тяжело идти. Стоять. Дышать. Словно за забором иное пространство. Я не смог протиснуться в дырку, нашел какие-то ящички, перелез, спрыгнул неловко.

Краска на стенах давно выцвела, облупилась, стекол нет, на окнах решетки — ржавые, но, похоже, крепкие. За ними — влажная темнота, холодок, как из петроградской подворотни в жаркий день. Дом дальше от забора, чем я думал. Или я подхожу, а он отодвигается.

Сквозь душный сумрак иду по парадной лестнице. Каждая ступенька выше предыдущей, лестница все круче, она почти вертикально поднимается к потолку, исчезает в темно-сером тумане. Не могу больше. Останавливаюсь. Оглядываюсь.

Нет, я так и стою у входа. Двери крест-накрест забиты досками. Как мальчишки попадают в Дом? Так же, как я, — врут?

Темный коридор. Почему он темный? Почему закрыты все двери? Кто за ними? Что?

Через весь Дом иду на свет, к маленькому мутному окну. Кто-то идет мне навстречу. Останавливаюсь — замирает, смотрит в упор, молчит. Я иду дальше — он идет. Хрустит под ногами битое стекло, скрипят доски, ломаются под тяжелыми ботинками тонкие кости давно умерших, высохших голубей. Я иду. Он идет. Не споткнуться, не поскользнуться, не упасть во все это руками, лицом. Я. Он. Не выдерживает доска, ломается с пушечным треском. Проваливаюсь, падаю, успеваю лишь заметить — тот, другой, исчез.

Все та же площадка перед входом. Я никуда не упал, нигде не был, снова обманул меня Дом.

«Мы летали, мы летали, наши клыбышки устали. Мы на клыше отдохнем и опять летать начнем! Плавда, Мишка?»

Оборачиваюсь. Девочка лет пяти разговаривает с игрушечным медвежонком. Далеко, на той стороне Дома.

— Что ты здесь делаешь? — кричу. — Тут же опасно!

Иду к ней. Рыженькая, в старомодном платье и сандалиях, точь-в-точь Ромашка с той детской фотокарточки. Выцветший моментальный снимок и ключ от квартиры на Лесной, где жили дед с бабушкой, где выросла мама, — два талисмана в потайном кармане моего бумажника. Всегда. На память, на счастье.

Женский голос будто из окна:

— Дочка, ты где? Кто там с тобой?

Девочка убегает, скрывается за Домом. Я иду следом, сворачиваю за угол. Никого. Из-под двери подвала, заколоченной наглухо пятидюймовыми гвоздями, торчит лапка плюшевого медведя.

Козырек над входом в подъезд. Если выдержат кронштейны водосточной трубы, можно добраться до него, а оттуда — до окна второго этажа. Я всегда был плохим физкультурником, а за последний год еще и отъелся на маминых сырниках. Взрослый мужик, куда меня черти несут? Прыгаю с трубы, пытаюсь ухватиться руками за козырек, промахиваюсь, падаю, лезу снова. Третий от земли кронштейн неприятно болтается. Прыгаю, подтягиваюсь, срываюсь. Так я ничего и не вспомнил пока о своей детской вылазке. Ну не может же Славка врать, ошибаться?

Просто старый дом, запущенный, скучный. Строительный мусор, мешки с окаменевшим цементом по углам комнат, оторванные клочьями обои, из-под них выглядывают бурые от времени газеты пятидесятилетней, наверное, давности. Доски скрипят под ногами, под полом кто-то шуршит, разбегается. Крысы?

Шаги. Мои? Нет, не мои. Замираю, задерживаю дыхание. Никого. Иду дальше. Опять шаги, шорохи, голоса, тихие, как легкий ветер. Он зовет меня, этот ветерок. «Ми-и-и-иша, Ми-и-и-иша... Слы-ы-ы-ышишь? Слы-ы-ы-ышишь? Ти-и-и-ише, ти-и-и-ише... Вы-ы-ы-ыше, вы-ы-ы-ыше...» Слышу. Иду тише, поднимаюсь выше. Последний этаж. Голос ветра вмиг затихает, за окнами, словно выключили его, гаснет солнце, Дом проваливается в ночь, и я вместе с ним.

Совсем стемнело. Я вдруг очнулся — так и стою здесь с середины дня, загипнотизирован Домом. Кое-как перебрался через забор, пошел наугад, по памяти, на теплые огоньки живых домов.

Ромашкино окно, тонкие занавески. Знакомый силуэт то появляется, то исчезает в глубине комнаты. Незнакомый силуэт — крупный, склонный к полноте мужчина с младенцем в руках. А я и не знал.

— Славка, у Ромашки, оказывается, ребенок.

— Да, мальчик. Не стал говорить тебе. Угадай, как его зовут.

— Не хочу.

— Ты их встретил? Гуляли во дворе?

— Нет, в окне увидел сквозь занавески — Машкин муж малыша баюкает.

— А тебе мама в детстве не говорила, Михаил, что нехорошо в чужие окна заглядывать?

Я что-то буркнул в ответ, отпил ристретто, поморщился от удовольствия. Там, на Лесной, я вспомнил вдруг про телефон, включил, увидел восемь пропущенных звонков от Славика — беспокоится. Перезвонил, договорились встретиться в «Терра инкогнита» у Золотых ворот.

— Муж ее, Руслан, кстати, неплохой человек. Постарше нас лет на пять, инженером на «Алмазе» работает. Земной, надежный, как железобетон.

— Полная противоположность мне.

— Пожалуй. Мих, пойдем на крепость?

По узкому ходу мы поднялись на стену, на верхний бой, при свете Славкиной зажигалки — я и не подумал взять с собой фонарик. Двадцать лет назад ни за что бы не забыл. Мы готовились к экспедициям за неделю, продумывали каждую деталь, втихаря таскали из дома все необходимое, прятали в тайник за сараями. Пусть ни одна из тех славных экспедиций так и не состоялась, зато была подготовка, секретные переговоры, шифры — все, что превращало нас из ватаги балбесов в партизанский отряд, в рыцарский орден, в братство. Странно, я ведь никогда не писал о наших похождениях. Все истории остались в теплых вечерах детства, в долгих разговорах, тихих от близости тайны, на вишневой поляне за сараями на окраине нашего двора да еще в памяти давно повзрослевших мальчишек. Завтра же сяду за рассказ.

Мы стоим высоко над отцветшими яблонями, над частными маленькими домами, где все уже спят. Домики почти вровень с куполами Софии Днепровской — много раз перестроенного собора, огромного, древнего, как сам город на холмах над рекой. Светится вдаль, за темнотой Трубежского оврага, паутинка центральных улиц.

— Ну как Дом, Мих? Я два часа жду твоего рассказа. Вот помру от любопытства, кто позаботится тогда о моих престарелых родителях и брошенных женах?

— Тьфу, дурак. Постучи по дереву или по своей глупой лохматой голове.

Как же я отвык от него — огромного, шумного мечтателя и недотепы. Все детство мечтал о брате, но родители не могли больше иметь детей. Моим братом целое лето был Славка — то старшим, то младшим.

— Не пустил меня Дом.

— То есть?

— Несколько раз я будто вошел туда. Хожу по коридорам, по комнатам и... просыпаюсь — стою у забитого досками центрального входа. Так день пролетел. И знаешь... Каждый раз он внутри разный.

Я рассказал Славке все, что смог вспомнить. Он слушал внимательно, иногда переспрашивал, уточнял.

— Это не Дом тебя не пустил, Мишка, ты сам себя туда не пустил, — сказал Славик, словно диагноз поставил.

Мы смотрели молча на город, пока не замерзли, потом спустились с неба на землю и пошли к Никольским воротам ловить такси до Воскресенки.

Пьесу мы написали недели за три. Не сочинили, конечно, с чистого листа — адаптировали для сцены мою первую повесть.

— Мишаня, я все придумал!

Так началось мое утро после неудачного похода в Дом.

— А... Во-о-от кто все придумал... — сонно бормочу в ответ. — И мир создал тоже ты? Тогда объясни, почему число Пи такое странное.

— Ты пьесу писать приехал или по пыльным домам шляться? Вставай, нас ждут великие дела. Твой кофе, Мих.

Славик вручил мне кружку с какой-то бурдой. Я сижу в одних трусах на мягкой постели на диване в гостиной и бездумно отхлебываю вязкую субстанцию. Настолько, впрочем, мерзкую, что начинаю просыпаться.

— Итак, Антон мой Павлович, за работу. У тебя есть рассказ или короткая повесть «Песня вечерней реки».

— Угу.

Гуляя мы однажды с Ромашкой — двадцатилетние, счастливые — по дальнему Заднепровью. Из этой прогулки родился сюжет. Я брался за него несколько раз, начинал писать, чувствовал — нет, не то. Бросал, откладывал, возвращался — «Река» меня не отпускала. И так лет пять. И вдруг получилось. И начались дурные сны. Но повесть-то не о Доме, я просто придумал город...

— Хорошая история, мне всегда нравилась. А сегодня проснулся рано...

— ...И разбудил меня. Ты, оказывается, злобный жаворонок, Святославище.

— Да я еще целый час терпел! Валялся на кровати, смотрел в окно на небо над Днепром и видел твою «Реку» на сцене. Спектакль на двоих — короткий, яркий, как взрыв Бетельгейзе. А? Беремся, Мишка?

Взялись. Мы не выходили из дома, ни с кем не общались. Раз в пару дней приезжала на маленьком синем «Паккарде» девушка из театра — Алина, Алька — привозила еду, готовила. С укором смотрела на наши небритые физиономии, морщилась от табачного дыма и возвращалась в город. Мы спорили, читали вслух по ролям, ругались, мирились, я отстаивал каждую букву, Славик вгрызался в текст,

перекраивал, переставлял, выбрасывал, говорил, это, мол, не проза, это театр, тут свои ритмы, другая гармония. А то вдруг брался рисовать эскизы декораций. Я всегда думал, что художник из него, как из меня танцор, но он в несколько штрихов делал удивительно ясный набросок.

— Стоп! — напугал меня Славик как-то вечером.

— Что случилось?

— Мы совсем забыли про песню, Мишель. Давай думать.

В повести я ничего толком не рассказал о песне реки — пусть каждый читатель услышит свою. Потом приходили письма с версиями, предположениями, настойчивыми просьбами по секрету рассказать, что же пела девушка с другого берега тем вечером в июне. Кто-то сочинял песни для нее, присылал вместе с нотами. Нотной грамоте я не обучен, и слухом природа не наградила. Мой петроградский приятель Антон с листа наигрывал эти мелодии на губной гармошке. Ничего интересного, графомания. Я складывал из писем кораблики и пускал их в Неву.

Славка был настойчив, мы целую ночь слушали разные записи из его огромной фонотеки: он хотел, чтобы я внезапно услышал «ту самую». Легли спать на рассвете, в ушах тысячей инструментов и голосов звенела разнообразная музыка, песни на всех языках мира.

Мы писали, сомневались, обсуждали, переписывали, повесть превращалась в пьесу, а в Новгород-Днепровский пришло лето.

Лето. Вишни, смородина, малина, крыжовник, яблоки, земляника, а потом черника в Печерском лесу, рассветы, закаты, солнечные грибные дожди, августовские туманы, купание в Днепре, посиделки со Славкиными друзьями, гитара и флейта, Алькины волшебные пирожные, кино по ночам, три велосипеда — два больших и один поменьше.

Я понял, что пора уезжать, когда однажды вечером, в самом конце этого чудного лета втроем, Алька по-детски восторженно, как старшего брата, поцеловала меня. И смутилась, посерьезнела, прочитала в моих глазах что-то давно и, как казалось, надежно спрятанное, услышала несказанные слова. Славка будто не заметил, расстроился, когда я сказал на следующий день, что еду в Петроград походить по издательствам с новыми рассказами и повестью — они родились сами собою из летних запахов, вкусов, мелодий, фантазий, разговоров. Звал вернуться, как только улажу дела, провести в Новгороде осень и зиму, работать вместе над спектаклем. Хотел, чтобы я увидел Алю на сцене в роли героини моей повести, нашей пьесы. И его, Славку, разумеется, в роли главного героя. Эх, Славик, брат ты мой по лету, ну как я тебе объясню, почему нет? Соврал, что постараюсь.

Два дня до отъезда, прощальные (не знаю, надолго ли) прогулки по городу. Везде побывали, всех повидали. Одна дверь внутри меня осталась незакрытой, один вопрос без ответа — Дом, балка.

Идея категорически не понравилась Славiku. Сидеть ночью под деревом у дверей, которые никогда не откроются? Вздор, бессмыслица. Но я не могу войти туда днем, Дом играет со мной, наизнанку выворачивает мою реальность. Во сне я хозяин. Вспомню все, проснусь и наяву пройду тем же маршрутом.

Теплые штаны, куртка с капюшоном, походные ботинки. Фонарик, запасные батарейки в кармане. Уснуть и видеть сны. Но не спится пока, сижу под сентябрьским небом — холодным, чистым. Созвездия одно за другим уползают за Дом, из-за деревьев появляются новые. Я рассказываю звездам долгие сказки, и они начинают мне отвечать. «Ми-и-и-иша, Ми-и-и-иша... Слы-ы-ы-ышишь? Слы-ы-ы-ышишь? Ти-и-и-ише, ти-и-и-ише... Вы-ы-ы-ыше, вы-ы-ы-ыше...»

Середина ночи. Я проснулся все под тем же старым тополем и теперь точно знаю, куда идти.

Пожарная лестница с западной стороны Дома, никто не увидит, не крикнет «А ну, слезай!». Дальше нет ни улиц, ни домов — пустырь, а за ним Чудов бор. Нижняя ступенька слишком высоко, не залезть на нее, не забраться по пожарке в Дом. Зато можно вылезти из окна на последнем этаже, спуститься, повиснуть на руках, раскачаться, спрыгнуть в высокую траву и небрежно соврать притихшим мальчишкам, что ты прошел по балке и это вовсе не так страшно, как они рассказывали. Не знаю, кто и когда соврал первым, да только нет никаких балок в той комнате под самой крышей, никто не смотрел, холодный от страха, вниз сквозь этажи. Пахнущие пылью рулоны утеплителя на полу, на обычном полу, на старом, вздыбленном от влажности паркете, дохлая кошка, битое стекло — россыпь самоцветов в луче моего фонарика. Из коридора уже виден выход на пожарную лестницу.

Я стою на пороге соседней комнаты. Балка здесь. Подо мной пятьдесят футов пустоты, темный колодец — сняты перекрытия до первого этажа, на дне чудится какое-то движение, ночь проникает в Дом, наполняет его, растет, дышит. Ды-ы-ы-ышит... Но из того окна, что по другую сторону балки, пристально смотрит на меня восходящее солнце. Грязная комната на последнем этаже заброшенного дома залита янтарными лучами, сверкают неподвижно, будто затаив дыхание, пылинки. Далекий восход — живой, теплый в холодной темноте — страшнее ночных и дневных кошмаров, страшнее высоты и безумия. Его не может быть. Не встает солнце на западе, не бывает рассветов посреди ночи и чужих миров за окном. Ведь не бывает, правда?

Так уже было со мной. Я снова хочу спрятаться от этого света, стать маленьким, очень маленьким, и чтобы рядом были мама и папа. Не видеть, не слышать, забыть, забыть. Но светлое окно среди черных, невозможное, зовет меня: «Ми-и-и-иша, Ми-и-и-иша... Слы-ы-ы-ышишь? Слы-ы-ы-ышишь?»

Медные с огненной искрой бабочки, яркие — сотни маленьких солнц — танцуют в утреннем сиянии. По балке, не замечая пропасть в пять этажей под ногами, иду на зов, настезь открываю слепые, без стекол, рамы, смотрю вперед, вниз. Долина знакомой незнакомой реки, сиреневые горы, осенний разноцветный лес. У самого горизонта — белый, розовый в утреннем свете, город. Древняя крепость и купола храмов неведомых мне богов? Дома-дворцы будущего парят над землей? Над долиной медленно поднимается полуденная звезда совсем иного мира.

Бабочки без боязни перелетают из одной Вселенной в другую, вьются вокруг меня, возвращаются назад, манят за собой. Я замер на границе миров, на солнечном луче, на балке в Доме и у окна башни на белой скале. Этот город на краю окоема я писал в рассказах, повестях, придумывал площади, улицы, холмы и овраги, фонтаны и мосты, населял людьми и не только людьми. Когда сочинял «Песню вечерней реки», подошел слишком близко, и мир за окном стал мне сниться, тревожить: «Вспомни, вспо-о-о-омни...». Я вспомнил, вернулся в детство, к моим *urbi et orbi*.

мне тридцать четыре и снова тринадцать, а ледяной страх перед чудом вдруг растаял в утреннем тепле. Больше ничего не забуду, обещаю тебе.

Я выдумал, почувствовал, увидел тебя. Ты под разными именами жила... живешь в этом городе в разных моих историях. Я знаю, как тебя зовут на самом деле, как называется город, но эти имена не для читателей.

Два космоса — твой и мой — встретились здесь, в тихом уголке пространства-времени, чтобы однажды разойтись, кружатся в медленном вальсе, робко касаются друг друга. Взлетают в два неба искры-бабочки. Окно открыто, все еще открыто, твой мир зовет, ты зовешь меня. Нужны всего лишь крылья — с пыльного подоконника шагнуть без боязни в залитую рассветом бездну.

Серое утро пахнет осенью, я сижу под топодем у центрального входа. Джинсы грязные, на ботинки без слез не взглянешь, рукав куртки порван. Рядом лежит фонарик, светит еле-еле: наверное, включил его и не заметил. Я был ночью в Доме? Ничего не помню, кроме золотого света из какого-то окна, но мне так светло сейчас, и уже не будет дурных снов. Закрываю глаза, хочу сохранить хоть каплю того сияния, не потерять, не забыть, чтобы вернуться когда-нибудь, непременно, обязательно. Не сейчас, нет.

Прощаюсь с Домом, провожу рукой по старым кирпичам. Вспархивают со стены напуганные мной бабочки, медные с огненной искрой — сотни маленьких солнц. Я смотрю, как они танцуют: странный танец, неевклидова геометрия. Смотрю, как поднимается рубиновое облако над двором, над деревьями, улетает за дальние дома, тает, как сон. Мне снились бабочки?

Пискнул в кармане телефон. Славик? Нет, Аля. «Миша, с тобой все в порядке? Я очень беспокоюсь».

Пора уезжать.

Снова май, снова сирень. Я лежу на прохладной земле, на газоне Марсова поля. Ветер с залива, по веселому весеннему небу бегут барашки-облака. Звонок. Славка. — Михаил Святославич шлет тебе привет.

Молчу.

— Сын у нас позавчера родился, сын! Назвали Мишей в твою честь. Алька так захотела, да и я, понятно, не возражал. Приезжай знакомиться.

Сын. У Али родился сын. У Али и Славика... Надо что-то сказать в ответ, спросить, поздравить.

— Так приедешь, Мих?

— Да.

Мы долго разговаривали обо всем на свете. Нет, Славка говорил, я отвечал, иногда невпопад.

— Живем на Лесной, поближе к родителям.

— Как же твоя мечта о тишине?

— Какая тишина, что ты? У нас теперь Мишка. И Лесная наша больше не тихая, за нее взялись, за весь район. Чудов бор благоустраивают, аллейки-скамейки, арочки-фонарики в парижском стиле, на пустыре вон стройку затеяли...

— А Дом?

— А Дом снесли.

КАРАВЕЛЛА

Жестокие мы были, сынок. Сейчас вспоминать стыдно. Живность всякую мучили — лягушек, котят. Рад бы сказать, это, мол, все они, другие мальчишки, а я... Да нет, такой же. А еще пацан у нас был... Его так и звали — Каравелла. Шуплый, чернявый, очки на резинке. Из хорошей семьи. Но отца взяли прямо перед войной. Он так и сгинул на Белом руднике.

Они жили в подвале бывшего своего дома — без прописки, без карточек. Мать и сестренка умерли в зимнюю блокаду, в семьдесят третьем. От голода, наверное. А Игорь... Представляешь, родители его в честь древнего князя назвали. Игоря к нам привезли.

Он молчал — месяц или больше, совсем молчал. Только смотрел на нас сквозь очки. Глазищи огромные, мокрые, но взгляд — как лед. Темную ему делали, крыс в кровать подкидывали — молчит. Вырывается, хрипит, весь как бешеный. Но чтобы ударить кого в ответ или наступать на нас утром — не было такого.

Как-то ночью мы его полотенцами к каталке привязали, крепко-накрепко. И по темным коридорам гоняем. Ему больно, страшно. Другой бы орал, матерился. От него мы тогда первое слово услышали — каравелла.

Весь сжался, выгнулся дугой. И закричал. На весь дом, на весь квартал, город. Кар-р-р-равелла! Знаешь, как жутко нам стало... Мы его бросили, конечно, в том коридоре. А он все кричал. Потом отвязал кто-то.

После того, правда, и дальше его мучили. Идиоты! В семьдесят восьмом, кажется, его от нас забрали.

Отец закашлялся, никак не мог перевести дыхание. Я принес ингалятор, он только мотнул головой. Я стер пятнышко крови с его подбородка.

Уже взрослыми были — я нашел наших, кого смог. Двоих убили, кто-то — на рудниках, на внешней орбитальной, на лунных базах... Хотел, понимаешь, пойти к нему, к Игорю, прощения попросить. Не поддержали пацаны. А один я побоялся. Вот, статьи о нем собирал, интервью, фотографии. В синей папке на тесемках — там все.

Был как-то вечер — конец мая, тепло. Мы сидели с Виталькой... Помнишь Виталика? Не помнишь, конечно. Тебе года два было, когда он... Сидим на крыльчике нашего корпуса, курим какую-то самодельную дрянь. Нам уже не запрещали ничего, но денег на сигареты не было. Подходит Каравелла, достает из кармана пачку. Не «Арктических» даже, не «Красотку», а трофейный «Дуглас». Нас угостил, закурил сам. Я тогда в первый раз настоящие курил, хорошие.

Садится рядом.

— Прощаться пришел, — говорит. — Не обижайтесь, если что.

Мы молчим, не смотрим друг на друга. Это нам обижаться?

А потом он вдруг:

— Я был совсем маленький, и папа... — как же он это слово сказал, «папа», о живых так не говорят — ...достал с верхней полки старую книгу о кораблях. Мы

сидели в его кабинете, лампа горела, снег шел. А папа рассказывал, какой корабль когда построен, кто на нем ходил, что открыл. Показал мне колумбову «Санта-Марию» и говорит, давай, мол, как подрастешь немного, построим с тобой каравеллу и отправимся в кругосветное...

Через полгода, летом, за ним пришли. — Да, именно так, «за ним пришли». — Мы с мамой и Тонькой были на даче, не знали ничего. Вернулись в город, а в нашем доме — чужие люди. Они все забрали себе, что у нас было. А книги папины продали, наверное. Или выкинули. Нам не до книг тогда было. Вот так. Но я все помню. И каравеллу все-таки построю.

Он докурил свой «Дуглас» и ушел в административный. Вещей при нем было — один тощий рюкзачок на веревке.

Отец закрыл глаза и долго сидел молча. Я не люблю его детские истории. Слышал их тысячу раз, и каждый раз по-разному, и где там правда, отец уже и сам не помнит.

Знаешь, сынок, а он построил эту свою «Санта-Марию». Нанял команду, ходил по океанам-морям. Я однажды подошел к нему — их встречали в Барселоне, толпа народа, журналисты, зеваки. Подсунул для автографа блокнот. Игорь меня не узнал, просто обрадовался земляку. Подписал, как я просил — «Все тип-топ, пацаны». Я-то думал, вдруг совесть успокоится от того клетчатого листка, от тех слов. Нет, брат. Столько всего было в жизни, а когда не спится, слышу крик в темноте. Кар-р-р-равел-л-л-ла!

Ничего толком не знаю об отце. Я маленький был, когда он ушел, года четыре. Мама никогда не рассказывала о нем, я не спрашивал. Больная, закрытая для нее тема. Стал искать его — потом, когда мамы уже не было. Первая наша встреча — он сидит на скамейке на бульваре, в плаще и старомодной шляпе. После того прилетал к нему раз в несколько недель, на выходные-праздники. Мы даже почти подружились за эти несколько лет. Но кто он, кем был, где жил и с кем...

Месяца через два я вернулся в холодную папину квартиру — привести в порядок его бумаги. Никакой синей папки среди них не оказалось. Правда, в верхнем ящике стола, запертом зачем-то на ключ, лежали кораблик из тетрадного листа и старые детские очки на резинке.

